Пленница

Автор:
Марсель Пруст

Пленница

Марсель Пруст

В поисках утраченного времени #5

Марсель Пруст – один из крупнейших французских писателей, родоначальник современной психологической прозы. Самое значимое свое произведение, цикл романов «В поисках утраченного времени», писатель создавал в течение четырнадцати лет. Каждый роман цикла – и звено в цепи всего повествования, и самостоятельное произведение. Все семь книг объединены образом рассказчика, пробуждающегося среди ночи и предающегося воспоминаниям о своей жизни. Настоящее и прошлое, созерцание и воспоминание оказываются вне времени и объединяются в единую картину, закладывая основу нового типа романа – романа «потока сознания».

Пятый роман эпопеи, «Пленница», продолжает тему любви: главный герой анализирует свои чувства. Роман вышел уже после смерти Марселя Пруста.

Марсель Пруст

Пленница

По утрам, лежа лицом к стене и еще не видя над длинными занавесками, что за оттенок у полоски света, я уже знал, какая сегодня погода. Я догадывался об этом по первым уличным шумам, которые доходили до меня то приглушенными и искаженными влажностью, то визжавшими, как стрелы, в звонкой и пустой тишине воздуха – тишине емкого, холодного, ясного утра; прислушиваясь к

первому трамваю, я определял, мокнет ли он под дождем или же мчится навстречу безоблачному небу. А может быть, шумам предшествовала их более стремительная и более юркая эманация: проскользнув в мой сон, она с грустью предвозвещала, что сейчас пойдет снег, или заставляла крохотного человечка петь во мне с перерывами одну за другой песни во славу солнца, так что, сколько я ни улыбался во сне, сколько ни смыкал веки, которые вот-вот должны были замигать от света, в конце концов меня все-таки пробуждало оглушительное пение. В этот период времени внешний мир проникал ко мне главным образом через мою спальню. Блок, насколько мне было известно, рассказывал, что, когда он приходил ко мне по вечерам, ему слышалось, будто я с кем-то разговариваю; так как моя мать жила тогда в Комбре и так как в моей комнате никого, кроме меня, не было, он думал, что я разговариваю сам с собой. Потом, узнав, что в моем доме живет Альбертина, и поняв, что я прячу ее от всех, он именно этим объяснял, почему я никуда не выхожу из дому. Он ошибался. Ошибка простительная, потому что в действительности, даже если ошибка как будто не подлежит сомнению, не все можно предусмотреть; те, кто узнает достоверную черту из жизни друга, тотчас же делают неправильные выводы и этому новому для них явлению дают совершенно неверное истолкование.

Стоит мне вспомнить теперь о том, что по возвращении из Бальбека Альбертина стала жить в Париже под одной крышей со мной, что она отказалась от мысли о морском путешествии, что она расположилась в двадцати шагах от меня, в конце коридора, в обитом штофными обоями кабинете моего отца, и что по вечерам, очень поздно, она на прощание просовывала свой язычок ко мне в рот, точно ежедневную пищу, как бы обладавшую питательными свойствами и почти чудодейственной силой для всей плоти, силой, благодаря которой боль, какую мы оба вытерпели из-за нее же, из-за Альбертины, превращалась в нечто вроде душевного умиротворения, в моем воображении мгновенно возникает не та ночь, когда капитан Бородинский разрешил мне переночевать в казарме, – его поблажка излечивала мнимое мое заболевание, – а ту ночь, когда отец позволил матери спать в моей кровати, со мной рядышком. И вот так всегда жизнь, если она должна избавить нас от страдания, кажущегося неизбежным, вопреки ожиданиям поступает в обстоятельствах иногда до того разных, что сопоставление явленных нам милостей представляется иногда почти явно кощунственным!

Когда Альбертина узнала от Франсуазы, что я не сплю в предутренний час, при еще задернутых занавесках, Альбертина, не стесняясь, что шум мне мешает, тихонько плескалась в ванне. Часто я тогда же проходил в мою, смежную ванную, очень приятную. В былые времена один директор театра истратил несколько сот тысяч франков, чтобы усыпать настоящими изумрудами трон, на котором восседала знаменитая актриса, игравшая роль императрицы.

Русский балет научил нас тому, что самые обыкновенные софиты, в зависимости от того, куда они направлены, образуют не менее яркую и более разнообразную игру драгоценных камней. Эта менее вещественная декорация, однако, не столь изящна, как та, которой в восемь утра солнце заменяет другую, которую мы видим обычно, когда встаем в полдень. Стекла окон двух наших ванных, чтобы нас никто не увидел снаружи, были не гладкие – их покрывал искусственный, вышедший из моды иней. Солнце сейчас же окрашивало в желтый цвет эту стеклянную ткань, позлащало ее и, бережно открывая во мне молодого человека, таившегося дольше, чем его туда запрятывала привычка, опьяняло меня воспоминаниями о том, каким я был когда-то, на лоне природы, в пору листопада; и даже около меня была птичка. Ведь я же слышал неумолчный щебет Альбертины:

Как ни глупо от страстей терзаться,

Поддаваться им еще глупей[1 - Перевод стихов в «Пленнице» принадлежит В. Стефанову.].

Из любви к Альбертине я не смеялся над ее плохим вкусом в музыке. Между тем эта песенка прошлым летом приводила в восторг г-жу Бонтан, но, правда, потом ей внушили, что это белиберда, и, когда у нее собирались гости, она просила Альбертину спеть уже не эту, а другую вещицу:

В смятенной глубине родится песнь прощанья, –

но затем она отзывалась и о ней как о «надоевшем мотивчике Массне, которым малышка прожужжала нам уши».

На солнце наплывало облако; я видел, как темнел и погасал стыдливый густолиственный стеклянный занавес. Стекла, разделявшие наши две ванные (у Альбертины была такая же точно ванная, как у мамы, но у мамы была еще одна – в другом конце квартиры, этой она никогда не пользовалась, чтобы не шуметь у

меня над ухом), были до того тонки, что мы с Альбертиной могли, купаясь, перекликаться, могли вести разговор, прерывавшийся только шумом воды, что создавало между нами ту задушевную близость, которая часто возникает в гостиницах от тесноты и от близости номеров, а в Париже это бывает чрезвычайно редко.

Иногда я лежал, мечтая, в постели, сколько мне хотелось, – слугам было приказано не входить ко мне в комнату, пока я не позвоню, а звонок над моей кроватью был повешен неудобно, и часто, устав дотягиваться до него, счастливый тем, что могу побыть один, я на некоторое время впадал в полудремоту. Я не был совершенно безучастен к тому, что Альбертина живет у нас. Ее разлука с подругами избавила меня от новых мучений. На сердце у меня было теперь легко; казалось, это мнимое спокойствие могло бы исцелить меня. И все же тот покой, что внесла мне в душу моя подружка, не столько радовал меня, сколько утишал мою муку. Дело заключалось совсем не в том, что он не принес мне многих радостей, ибо во мне была еще слишком жива другая боль, которую я испытал, – те радости, какие у меня появились, не исходили от Альбертины: мне казалось, что она подурнела, мне было с ней скучно, я отдавал себе ясный отчет в том, что разлюбил ее, теперь мне становилось хорошо на душе, когда ее со мной не было. Вот почему утром я звал ее не сразу, особенно если была хорошая погода. Несколько минут я оставался вдвоем с жившим во мне человечком, о котором я уже упоминал, Песнословцем солнца, – с ним мне было веселее, чем с Альбертиной. Из тех, кто входит в состав нашей личности, видные снаружи не являются самыми главными. Во мне, когда болезнь в конце концов расшвыряет их одного за другим, останутся двое-трое, которым придется несладко, особенно одному философу, который находит удовольствие только в отыскивании сходства между двумя произведениями искусства, между двумя полученными от них впечатлениями. Иногда я задавал себе вопрос: кто будет последний – не человечек ли, так похожий на того, которого комбрейский оптик поставил на витрину, чтобы указывать погоду, и который снимал капюшончик, когда было ясно, и надевал, когда шел дождь? Я знал, насколько человечек эгоистичен; я страдал от удушья, которое только дождь мог успокоить, а ему это было безразлично, и при первых же каплях дождя, которых я с таким нетерпением ждал, он сразу мрачнел и с сердитым видом надевал капюшон. Я уверен, что когда у меня начнется агония, когда все мои другие «я» умрут, то, если при последнем моем издыхании блеснет луч солнца, барометрический человечек повеселеет, снимет капюшон и запоет: «Ах, как хорошо теперь жить на свете!»

Я звонил Франсуазе. Развертывал «Фигаро». Тщетно искал, нет ли там недавно мной у себя найденного очерка, или чего-то вроде очерка, слегка переделанного, посланного мною туда, но так и не помещенного, который я писал в экипаже доктора Перспье, глядя на мартенвильские колокольни. Потом читал мамино письмо. То, что девушка живет вдвоем со мной, казалось ей чем-то из ряда вон выходящим, неприличным. В день отъезда из Бальбека она видела, как я страдаю, ей тяжело было оставлять меня одного, и, пожалуй, ей было даже приятно, что Альбертина едет с нами, приятно, что рядом с нашими вещами (теми самыми, возле которых я проплакал всю ночь в отеле «Бальбек») в пригородном поезде стоят чемоданы Альбертины, узкие, черные, напоминавшие мне гробы, – вещи, о которых я не мог бы сказать определенно: что они внесут в дом – жизнь или смерть. А я был так счастлив, избавившись от страха остаться в Бальбеке, так счастлив в то ясное утро, что даже забыл спросить у мамы разрешения взять с собой Альбертину. Но если вначале моя мать отнеслась к моему желанию благосклонно (она говорила с моей подружкой ласково – тоном матери, у которой сын тяжело ранен и которая испытывает чувство благодарности к его юной возлюбленной за то, что она за ним самоотверженно ухаживает), то когда я достиг всего, что хотел, и когда девушка у нас зажилась, да еще в отсутствие моих родителей, моя мать отнеслась к этому враждебно. Я бы не сказал, что моя мать выражала это свое враждебное чувство постоянно. Как в былые времена, когда она переставала журить меня за нервозность, за лень, так и теперь она делала над собой усилие – в чем я, может быть, и не отдавал себе в этот момент вполне ясного отчета, а может быть, не хотел отдавать – и воздерживалась от неблагоприятных суждений о девушке, о которой я с ней говорил как о своей невесте: воздерживалась из боязни испортить мне жизнь, настроить меня против жены, что может сказаться впоследствии, из боязни, как бы меня не мучила совесть после ее смерти за то, что я все-таки решился жениться на Альбертине. Мама, уверенная в том, что ей все равно не удалось бы заставить меня отказаться от своего выбора, предпочитала делать вид, что она его одобряет. Но видевшие ее в ту пору потом говорили мне, что к горю, причиненному ей кончиной матери, примешивалась постоянная озабоченность. От этой внутренней напряженности, от душевного разлада у мамы начались сильные приливы к голове, ей не хватало воздуха, и она беспрестанно открывала окна. Она не принимала решения из боязни «оказать на меня дурное влияние» и отравить то, в чем силилась видеть мое счастье. У нее не хватало душевных сил даже на то, чтобы не позволить мне временно приютить у себя Альбертину. Ей не хотелось оказаться строже г-жи Вонтан, которую это ближе всего касалось и которая, к вящему изумлению мамы, не считала это неприличным. Как бы то ни было, мама жалела, что ей пришлось, оставив нас вдвоем, тут же выезжать в Комбре, где она могла

задержаться (и в самом деле задержалась) на несколько месяцев, пока моя двоюродная бабушка нуждалась в ее помощи и днем и ночью. Жизнь в Комбре во всем облегчал маме Легранден, его доброта, его самоотверженность; он шел на все, откладывал со дня на день свой отъезд в Париж, хотя с бабушкой был в далеких отношениях, – просто потому, что больная – друг моей матери, а во-вторых, потому что – это он чувствовал – безнадежно больную трогают ее заботы и обойтись без них она не в силах. Снобизм – тяжелая душевная болезнь, но охватывает она определенную область души, а не всю целиком. В противоположность маме, я был очень рад ее отъезду в Комбре – я боялся, что при иных обстоятельствах (я же не мог сказать Альбертине, что я ее прячу) откроется ее дружба с мадмуазель Вентейль. В глазах моей матери это было бы препятствие непреодолимое – не только для моего брака, насчет которого она все-таки просила меня пока ничего окончательно не решать с моей подружкой и самая мысль о котором становилась все более и более невыносимой для меня, но и для того, чтобы Альбертина некоторое время пожила у нас. Если не считать этой столь важной для мамы и ей неведомой причины, мама в подражание, с одной стороны, проповедовавшей свободомыслие бабушке, обожавшей Жорж Санд и полагавшей, что душевное благородство не может не включать в себя добродетель, а с другой – находясь под моим тлетворным влиянием, была теперь снисходительна к женщинам, чье поведение она когда-то, да, впрочем, и теперь, строго осуждала, если ее приятельницы были из парижских и комбрейских буржуазных семей, но я расхваливал их душевные качества, и она многое прощала за то, что они очень любили меня.

Помимо всего прочего, оставляя в стороне вопрос о приличиях, я утверждаю, что Альбертина не выносила бы маму только за то, что мама хранила память о Комбре, о тете Леонии, о всей ее родне, об укладе нашей жизни, о которой моя подружка не имела никакого понятия. Она не затворяла бы за собой дверь и не постеснялась бы войти в отворенную, как забегают в отворенную дверь собака или кошка. Ее несколько неудобную в общежитии прелесть скорей можно было назвать не прелестью девушки, а прелестью домашнего животного, которое входит в комнату и выходит, которое может оказаться там, где его не ожидаешь, и которое – это погружало меня в состояние полного покоя – могло прыгнуть ко мне на кровать, выбрать себе местечко поуютней, улечься там, как человек, и потом уже ни разу меня не потревожить. И все-таки в конце концов она приноровилась ко времени моего сна и не только не пыталась войти ко мне в комнату, но и не шевелилась, покуда я не звонил. Этим правилам ее подчинила Франсуаза. Франсуаза была из тех комбрейских слуг, которые знали цену своему хозяину и которые считали, что самое меньшее, чего от них можно требовать, это оказывать все услуги, каких, по их мнению, он достоин. Если кто-нибудь

посторонний давал Франсуазе на чай пополам с дочерью кухарки, то он не успевал сунуть Франсуазе монету, как Франсуаза быстро, незаметно и проворно бросалась поучать кухаркину дочку, и та являлась поблагодарить не просто чтобы отделаться, а от чистого сердца, торжественно, как ее наставляла Франсуаза. Комбрейский священник был не бог весть что, но и он знал себе цену. С его благословения дочь родственников г-жи Сазра, протестантов, перешла в католическую веру, и ее семья была ему крайне признательна. Речь шла о браке с представителем мезеглизской знати. Родители молодого человека послали священнику в довольно непочтительном тоне письмо-запрос, в котором об основах протестантского вероучения говорилось пренебрежительно. Комбрейский священник ответил так, что мезеглизский дворянин написал ему второе письмо, уже совсем в другом тоне, – он униженно и раболепно, как о величайшей милости, просил о венчании.

По части охраны моего сна от Альбертины у Франсуазы особых заслуг не было. Тут действовал многолетний навык. По молчанию, которое она хранила, по решительным отказам, которые Альбертина получала в ответ на невинные просьбы войти ко мне, спросить меня о чем-нибудь, Альбертина, к ужасу своему, поняла, что очутилась в каком-то особом мире с неведомым ей строем жизни, в мире, управляемом законами, о нарушении которых нельзя и помыслить. Предчувствовала она это еще в Бальбеке, а здесь, в Париже, даже не пыталась сопротивляться – она каждое утро терпеливо ждала звонка, чтобы начать двигаться.

Кстати сказать, воспитание, которое дала ей Франсуаза, подействовало благотворно и на самое Франсуазу – по возвращении из Бальбека наша старая служанка мало-помалу прекратила свои охи и вздохи. А между тем, когда мы в Бальбеке садились в поезд, Франсуаза вспомнила, что не попрощалась с «экономкой» из отеля, надзиравшей за этажами усатой особой, почти не знакомой с Франсуазой, однако бывшей с ней более или менее вежливой. Франсуаза подняла крик: мы-де во что бы то ни стало должны ехать назад, сойти с поезда и вернуться в отель, там она попрощается с экономкой, а выедем мы послезавтра. Здравый смысл и в еще большей степени прилив внезапного отвращения к Бальбеку вынудили меня помешать Франсуазе исполнить долг вежливости, но на болезненное ее возбуждение не подействовала и перемена климата, и продолжалось оно у нее и в Париже. Согласно нравственным убеждениям Франсуазы, воплощенным на барельефах Андрея Первозванного-в-полях, пожелать врагу, чтобы он умер, даже убить врага не воспрещается, грешно не исполнить своего долга, оказаться невежей, не попрощаться перед отъездом, как последняя хамка, с дежурной по этажу. Всю дорогу из-за

ежеминутно являвшегося воспоминания о том, что она не попрощалась с этой женщиной, щеки у нее горели так, что можно было испугаться. И она до самого Парижа не пила не ела, отчасти чтобы нас наказать, но, может быть, потому, что при одном воспоминании у нее действительно «подкатывало к горлу» (у каждого класса своя патология).

Одна из причин, по которым мама писала мне ежедневно, причем в каждом письме непременно цитировала г-жу де Севинье, было воспоминание о матери. Мама писала мне: «Г-жа Сазра пригласила нас на один из тех уютных завтраков, которые только она одна умеет устраивать и которые, как выразилась бы твоя бедная бабушка, позаимствовав изречение у г-жи де Севинье, восхищают не многолюдством, а уединенностью». В одном из первых писем я имел глупость написать маме: «Твоя мама сейчас же узнала бы, что письмо от тебя, по цитатам». Три дня спустя я получил по заслугам: «Мой милый сын! Если ты хотел, вспоминая о моей маме, уколоть меня упоминанием г-жи де Севинье, она ответила бы тебе, как г-же де Гриньян: «Так она вам никак не приходится? А я думала, вы в родстве».

Но вот слышались шаги моей подружки – она выходила из своей комнаты или возвращалась. Я звонил, потому что сейчас должна была заехать за Альбертиной Андре вместе с другом Мореля – шофером, которого послали Вердюрены. Я говорил Альбертине, что когда-нибудь мы поженимся, но формального предложения не делал; она, из скромности, в ответ на мои слова: «Не знаю, но, по-моему, тут ничего невозможного нет», с печальной улыбкой покачав головой, возражала: «Этому не бывать», что означало: «Я из очень бедной семьи». А теперь, когда у нас заходила речь о планах на будущее, я уже утверждал, что это «дело решенное», всячески старался развлечь ее, скрасить ей жизнь, быть может бессознательно стараясь сделать все для того, чтобы у нее появилось желание выйти за меня замуж. Она смеялась при виде всей этой роскоши. «Воображаю, как взвилась бы мать Андре, если бы увидела, что я стала такой же, как они, богатой дамой (как она выражается: „дамой, у которой есть лошади, экипажи, картины“). Да неужели я никогда вам про нее не рассказывала? Ну и штучка! Для нее что картины, что лошади и экипажи – все одинаково ценно, вот что меня поражает».

Впоследствии будет видно, что хотя Альбертина по-прежнему молола иногда всякий вздор, но могла и удивить своим умственным развитием, мне же это было совершенно безразлично: умственные способности той или иной моей знакомой оставляли меня равнодушным. Пожалуй, только своеобразный ум Селесты был

мне по нраву. Я невольно улыбался, когда, например, воспользовавшись отсутствием Альбертины, она заговаривала со мной: «Неземное существо восседает на кровати!» Я возражал: «Но позвольте, Селеста, почему же „неземное существо“?» – «Ах, если вы полагаете, что хоть чем-то похожи на тех, кто скитается по нашей грешной земле, то вы жестоко ошибаетесь!» – «А почему „восседает“ на кровати? Вы же видите, что я лежу». – «И вовсе вы не лежите. Разве так лежат? Вы сюда слетели. Вы в белой пижаме и вертите шейкой, как все равно голубь».

Альбертина, даже говоря глупости, выражалась совсем не так, как всего лишь несколько лет назад в Бальбеке, еще подростком. Теперь она могла поговорить и о политике и воскликнуть по поводу какого-нибудь события, которым она возмутилась: «По-моему, это чудовищно…» И, должно быть, именно в эту пору она привыкла отзываться о книгах, которые, по ее мнению, были плохо написаны: «По содержанию это интересно, но уж зато такая мазня!»

То, что ко мне воспрещалось входить до моего звонка, очень ее забавляло. Восприняв нашу наследственную любовь к цитатам, она читала наизусть отрывки из пьес, в которых играла когда-то в монастырской школе и которые, как я ей сказал, мне понравились, и всегда сравнивала меня с Агасфером:

Знай: голову свою на плахе сложит тот,

Кто пред царем предстать непрошеным дерзнет,

И всем равно грозит сей роковой закон,

Ни женщин, ни мужчин не разбирает он.

И даже я…

Должна, подобно всем, царю повиноваться:

Пока не повелит он сам явиться мне,

Остаться не могу я с ним наедине.

Внешность ее тоже изменилась. Разрез ее синих продолговатых глаз стал не тот: он еще удлинился; цвет глаз был прежний, но теперь они как будто

увлажнились. Так что, когда она их закрывала, казалось, что две занавески мешают смотреть на море. Конечно, именно эту ее черту я особенно отчетливо вспоминал каждый вечер, когда она уходила от меня. А по утрам я надолго приковывал изумленный взор к волнистости ее волос, как будто я их в первый раз видел. И в самом деле: что может быть прекраснее венка вьющихся черных фиалок над улыбчивым взглядом девушки? В улыбке сильнее дружеское начало, а в блестящих завитках волос-цветов больше от плоти, они кажутся струйками плоти и возбуждают более острое желание.

Войдя ко мне в комнату, Альбертина прыгала на кровать и, в иных случаях угадывая, в каком я настроении, клялась в приливе искреннего чувства, что ей легче умереть, чем расстаться со мной: это бывало в те дни, когда я брился перед ее приходом. Она принадлежала к числу женщин, которые не умеют отделять разум от чувства. Удовольствие, которое они испытывают от прикосновения к мягкой коже, они объясняют душевными свойствами того, кто – в чем они уверены – сулит им счастливое будущее, которое, впрочем, может оказаться и не таким счастливым и не таким необходимым, если мужчина начнет отращивать бороду.

Я спросил, куда она собирается ехать. «По-моему, Андре хочет свозить меня в Бют-Шомон – я там никогда не была». Конечно, я не мог догадаться, когда Альбертина лжет, а когда говорит правду. Кроме того, я верил Андре, что она возит Альбертину именно в такие места, куда она будто бы собирается ехать с Альбертиной. В Бальбеке, когда я очень уставал от Альбертины, я говорил Андре неправду: «Маленькая моя Андре! Если бы мы встретились с вами раньше! Я бы полюбил вас. Но теперь мое сердце занято. И все-таки мы можем часто видеться. Я люблю другую, но эта любовь причиняет мне много горя, а вы сумеете меня утешить». И вот эта ложь три недели спустя стала правдой. Быть может, Андре поняла в Париже, что я говорю неправду и что я ее люблю, так же как она, несомненно, верила мне в Бальбеке. Правда так меняется внутри нас, что другим трудно бывает в ней разобраться. Зная, что Андре мне расскажет, где они с Альбертиной были, я просил Андре заезжать за ней, и она заезжала почти ежедневно. Таким образом, я мог спокойно оставаться дома. Обаяние, которое придавало в моих глазах Андре то, что она была одна из стайки, внушало мне уверенность, что я получу все нужные мне сведения об Альбертине. Теперь я по чистой совести мог бы сказать ей, что мое спокойствие зависит от нее.

С другой стороны, то, что мой выбор пал на Андре (она отказалась от своего плана еще раз съездить в Бальбек и осталась в Париже) как на

путеводительницу моей подружки, было вызвано рассказом Альбертины о том, что в Бальбеке Андре была в меня влюблена, и как раз когда я думал, что я ей надоел, и если ко мне тогда об этом забредали такие мысли, то, может быть, я действительно любил Андре. «Как же вы не догадались? – сказала мне Альбертина. – А ведь мы над вами посмеивались. Между прочим, вы не обратили внимания, что она переняла вашу манеру говорить, рассуждать? Когда она от вас уходила, это было потрясающе. Ей незачем было сообщать нам, что она с вами виделась. Как только она приходила, сразу можно было сказать, что она только что была с вами. Мы переглядывались и фыркали. Ее можно было сравнить с угольщиком, который пытается доказать, что он не угольщик, а сам весь черный. Мельника не надо уверять, что он мельник: он весь в муке и на спине у него отпечатки мешков, которые он таскал. С Андре было то же самое: она сдвигала брови, как вы, и потом, ее длинная шея, – словом, это нельзя передать. Когда я беру у вас в комнате книгу, я могу читать ее где угодно, а все-таки я знаю, чья она, оттого что она провоняла табаком. Конечно, это пустяк, но пустяк, в сущности, милый. Каждый раз, когда кто-нибудь говорил о вас хорошо, отзывался о вас с похвалой, Андре сияла».

И все-таки, чтобы не допустить заговора против меня, я посоветовал Альбертине отложить поездку в Бю-Шомон и поехать в Сен-Клу или куда-нибудь еще.

Конечно, Альбертина была мне в какой-то степени дорога, и я это чувствовал. Быть может, любовь – это струи за кормой, которые после волнения всколыхивают душу. Иные всколыхнули мою душу до дна, когда Альбертина заговорила со мной в Бальбеке о мадмуазель Вентейль, но в данное время они утихли. Я разлюбил Альбертину, сердечная моя рана зажила, я уже не страдал, как в бальбекском поезде, когда узнал, каково было отрочество Альбертины – быть может, с посещениями Монжувена. Над всем этим я слишком долго думал, боль прошла. Но временами некоторые выражения Альбертины наводили меня на мысль – не знаю, почему, – что за свою такую короткую жизнь она наслушалась комплиментов, объяснений в любви, и выслушивала она их, во всяком случае, с удовольствием, если не с наслаждением. Так, например, она спрашивала: «Это правда? Истинная правда?» Разумеется, если бы она сказала, как сказала бы, например, Одетта: «Да ведь эта грубая ложь – сущая правда?» – меня бы это не озадачило: нелепость выражения объяснялась бы пошлостью и глупостью Одетты, но когда Альбертина с вопросительным видом произносила: «Это правда?» – у нее прежде всего появлялось странное выражение, как будто она сама не в силах осмыслить происходящее, как будто она взывает к вашим свидетельским показаниям, как будто она ниже вас по своим умственным способностям (ей говорили: «Мы выехали час назад» – или: «Дождь пошел» – она

спрашивала: «Правда?»). К сожалению, вопросы: «Правда? Это истинная правда?» – не были прямым следствием неумения разобраться в явлениях внешнего мира. Скорей наоборот: эти фразы были следствием ранней зрелости и отвечали на подразумевавшееся: «Вы же знаете, что красивей вас я не встречал никого на свете», «Вы же знаете, что я люблю вас страстно, что я потерял голову». Меня Альбертина спрашивала с кокетливо-скромной безропотностью: «Правда?» – только если я утверждал: «Вы спали больше часа».

Не испытывая никаких чувств к Альбертине, не вызывая в воображении многих наслаждений, какие мы доставляли друг другу, когда оставались одни, я старался убить время; разумеется, моя мысль обходила Бальбек – я был уверен, что Альбертина столкнется здесь с тем-то и тем-то, кто начнет злобно хихикать, хихикать, может быть, надо мной, и не хотел сходить с ума от страха, поэтому я сразу после отъезда из Бальбека порвал отношения с неприятными мне людьми. Альбертина была настолько безвольна, она обладала такой необыкновенной способностью забывать и покоряться, что эти отношения действительно прекратились и от мучившего меня страха я излечился. Но он вновь мог на меня напасть под каким угодно неведомым обличьем. Так как я не испытывал ревности к кому-нибудь другому, то после очередного приступа я успокаивался. Но чтобы возбудить хроническую болезнь, достаточно малейшего предлога, так же как возобновлению порока, вызывающего ревность, может способствовать малейшая случайность (после нравственного образа жизни) при встречах с другими людьми. Я мог отдалить Альбертину от ее соучастниц и, таким образом, избавиться от бредовых явлений; можно было заставить ее забыть тех или иных людей, порвать с ними отношения, но ведь ее предрасположение было тоже хроническим и, быть может, ожидало только повода, чтобы выявиться. В Париже нашлось столько жо поводов, как и в Бальбеке. Где бы она ни очутилась, Альбертине не надо было искать, потому что больна была не только Альбертина, но и другие, для которых всякий повод для наслаждения хорош. Взгляд одной понятен другой, и он сближает обеих алчущих. Женщина ловкая делает вид, что ничего не замечает, а через пять минут идет к женщине, которая ее поняла, поджидает на перекрестке и мигом назначает свидание. Как тут дознаться? На что, кажется, проще было бы Альбертине сказать мне, что ей хочется побывать в такой-то окрестности Парижа, которая ей понравилась, что она вернется очень поздно, и пусть бы прогулка длилась необъяснимо долго, все-таки, быть может, гораздо спокойней для нее было бы как-то объяснить свое поведение (совершенно не вводя в объяснение чувственного момента), только ради того, чтобы во мне всколыхнулась душевная боль, которая теперь была не связана с бальбекскими похождениями – их я старался, как и прежние, истреблять, словно потребление чего-либо эфемерного способно повлечь за собой избавление от

боли врожденной. Я не принимал во внимание свойство Альбертины, которая была соучастницей этих истреблений, меняться, ее способность забывать, почти ненавидеть свой недавний предмет; я не отдавал себе отчета, что я причинял боль кому-либо из тех очередных, неведомых мне существ, с которыми ей еще так недавно было приятно проводить время, и что эту боль я в иных случаях причинял напрасно, так как их покидали, но заменяли, и в это же время по параллельной дороге, усеянной столькими брошенными, которых ей ничего не стоило натравить друг на друга, за мною гнался почти без передышки еще один упрямец; слоном, если подумать хорошенько, мои страдания могли прекратиться только вместе с жизнью Альбертины или вместо со мной. Даже первое время нашего пребывания в Париже, неудовлетворенный сведениями, получаемыми мной от Андре и от шофера о прогулках, которые они совершали с моей подружкой, я несколько раз съездил на прогулку с Альбертиной, и я ощущал пригороды Парижа не менее жестокими, чем окрестности Бальбека. И всюду неуверенность в том, что она вытворит, была одинаковой, возможности зла многообразны, надзор еще труднее, и в конце концов я возвращался с ней в Париж. Откровенно говоря, уезжая из Бальбека, я надеялся уехать из Гоморры, вырвав оттуда Альбертину; увы! Гоморра расположена в четырех странах света, и частично из ревности, частично по неведению (случай крайне редкий) я безотчетно суживал объем пряток, чтобы Альбертина не могла от меня ускользнуть. Я с бухты-барахты спрашивал ее: «Да, кстати, Альбертппа, может, это мне приснилось: вы мне не говорили, что знакомы с Жильбертой Сван?» – «Да, то есть мы разговаривали с ней на курсах, у нее были записи лекций по истории Франции, она ведь очень милая: дала мне эти записи, а когда мы с ней встретились, я их сейчас же вернула, и больше я ее в глаза не видала». – «Она из породы тех женщин, которые мне неприятны?» – «Да нет, что вы!»

До этих расспросов я часто рисовал в воображении прогулки с Альбертиной, внося в свои мечты такое увлечение, какого на самом деле во мне не было, и уговаривал мою подружку с пылом, который являлся признаком намерения, которое мы не собираемся осуществлять; я выражал бурное желание осмотреть Сент-Шапель, глубокое уныние оттого, что не могу поехать с ней туда вдвоем, так что в ответ на мои жалобы Альбертина ласково отвечала: «Вот что, малыш: раз вам этого так хочется, сделайте над собой небольшое усилие, поедемте с нами. Мы вас подождем. А если вам приятнее быть только со мной, я спроважу Андре к ней домой, она съездит в следующий раз». Но ее просьбы съездить на прогулку лишь усиливали во мне спокойствие, которое давало возможность исполнить мое желание – желание остаться дома.

Я не думал о том, что попечение, возложенное на Андре или на шофера с целью успокоить мое волнение, просьба не выпускать из виду Альбертину и анкилозировать меня, обрекает меня на бездействие, парализует способность мышления воображать, парализует усилия воли, направленные к тому, чтобы угадывать, противодействовать. Это было тем для меня опаснее, что таким я родился: область возможного всегда была мне доступнее действительности. Эта особенность помогает познавать внутренний мир другого человека, но вместе с тем усыпляет бдительность. Моя ревность рождалась из образов, из страдания, но не из правдоподобия. В жизни людей и в жизни народов (но могло не быть такого дня и в моей жизни) выдается день, когда нужно, чтобы внутри тебя находился полицейский надзиратель, дальновидный дипломат, начальник сыскной полиции, который, вместо того чтобы стараться предусмотреть все на свете, мыслит правильно; он говорит себе: «Если Германия заявляет то-то, значит, поступить она намерена совсем по-другому, и это у нее не туманные мечты, а нечто строго продуманное, и, может быть, даже она уже начала действовать», «Если такой-то сбежал, то сбежал не в а, не в б, но в в, и поиски нам следует вести в в». Увы! Эта способность и так-то не была во мне достаточно хорошо развита, а я еще притуплял ее, растрачивал силы, тушевался, привыкал быть спокойным в то время, когда другие следили за мной.

Открывать Альбертине причину моего нежелания выезжать с ней мне было неприятно. Я говорил ей, что врач велел мне лежать. Я говорил неправду. Все его предписания были бессильны помешать мне ехать с моей подружкой. Я просил у нее позволения не ездить вместе с ней и с Андре. Я бы не сказал, чтобы это было разумно. Когда я выезжал с Альбертиной, то, если она отходила от меня на шаг, я проявлял беспокойство; я воображал, что она сговорилась с кем-нибудь или хотя бы с кем-нибудь переглянулась. Если она была не в духе, то я это приписывал тому, что сорвал или заставил отменить какой-нибудь ее план. Реальность – это всегда приманка для новичка, по пути которого далеко не пройдешь. Лучше ничего не знать, думать как можно меньше, не снабжать ревность ни одной конкретной подробностью. К несчастью, за отсутствием внешних событий, приключения возникают во внутреннем мире; за отсутствием прогулок с Альбертиной, случайности, на которые я наталкивался, размышляя в одиночестве, снабжали меня порой клочками действительности, а те, в свою очередь, притягивали, как магнит, крохотные частицы неведомого, которое в конце концов становится невыносимым. Хорошо находиться под воздушным колоколом; ассоциации идей, воспоминания продолжают в нем действовать. Но столкновения душевных сил не происходят в нем мгновенно: стоило Альбертине выехать на прогулку – и меня оживляли, пусть на короткое время, возбуждающие средства одиночества. Я принимал участие в каждодневных

удовольствиях; робкое поползновение – желание только мое, и ничье больше, – их вкусить становилось для меня недосягаемым, если не удерживать их дома. В иные ясные дни было так холодно, образовывалось такое широкое общение с улицей, что казалось, будто стены дома разобраны, и всякий раз, когда проходил трамвай, его звонок звучал так, как если бы кто-нибудь серебряным ножом стучал по стеклянному дому. Но никто с таким упоением не слушал новый звук душевной скрипки, как я. Ее струны сжимались или растягивались просто в зависимости от температуры, освещения на улицах. В нашем внутреннем инструменте, который из-за однообразия привычки молчал, пение порождают все его отклонения, все его колебания – источник всякой музыки. Если погода некоторое время держится, то она мгновенно переводит нас в другую тональность. Мы припоминаем забытую арию, хотя она должна быть нам ясна, как очевидный смысл, и первое время мы поем, не зная, что это такое. Только внутренние видоизменения, хотя исходили они извне, обновляли для меня внешний мир. В моем мозгу открывались средства сообщения, с давних пор для меня запретные. Жизнь в городах, веселье прогулок вновь занимали во мне свое место. Дрожа всем телом вокруг вибрирующей струны, я готов был отдать и мое прошлое, и мое будущее, стертые губкой для стирания привычки, за это необыкновенное состояние.

Если бы я не уезжал надолго с Альбертиной, мой дух скитался бы еще дольше. Чтобы не вкушать всеми чувствами нынешнее утро, я наслаждался в воображении всеми похожими, минувшими или возможными, точнее – определенным типом утра, а все утра такого рода – явления перемежающиеся, и я их тотчас же узнавал; свежий воздух переворачивал страницы так, как ему хотелось, и передо мной были все указания, которым я мог следовать, лежа в кровати, – евангелие дня. Это идеальное утро насыщало мое сознание непрерывной реальностью, так же, как в другие, похожие утра, и полнило весельем, на которое не действовала моя слабость; хорошее настроение зависит у нас в гораздо меньшей степени от нашего самочувствия, чем от нерастраченного излишка сил, мы можем добиться использования наших сил, наращивая их или ограничивая нашу деятельность. Жизненную силу, которая переливалась во мне через край, я удерживал, лежа в кровати, я содрогался, я подскакивал внутри себя, подобно машине, которой не дают стронуться с моста и она крутится вокруг себя.

Франсуаза входила подтопить и бросала несколько веточек, запах которых, забытый за лето, описывал вокруг камина магический круг, в котором я видел, как я читаю то в Комбре, то в Донсьере, и радовался, что я у себя в комнате в Париже, так, как если бы вышел на прогулку по направлению к Мезеглизу или

встретил Сен-Лу и его друзей на полевых занятиях. Обычно радость вновь погрузиться в воспоминания, которые для людей сберегла память, сильнее у тех, которых жестокость физической боли и постоянная надежда на выздоровление не пускают искать в жизни картины, похожие на эти воспоминания, а вместе с тем вселяют в них уверенность, что они, испытывая страстное желание, чувство голода, очутятся напротив этих картин и воспримут это не только как воспоминания, не только как картины. И хотя и те и другие были обречены на то, чтобы навеки остаться для меня всего лишь картинами и воспоминаниями, а я был обречен при мысли о них только вновь увидеть их, внезапно они превращали меня, меня всего, с помощью тождественного ощущения, в видевшего их ребенка, юношу. За это время снаружи не произошло перемены погоды, в комнате пахло все так же, а во мне произошла разница в возрасте, замещение одной личности другою. Запах веток в холодном воздухе – это был как бы отрывок прошлого, незримый припай, оторвавшийся от минувшей зимы и двигавшийся по моей комнате, часто рассекаемый запахом, светом, как в былые годы, куда я вновь погружался, охваченный, еще до того как я их опознавал, ликованием надежд, давным-давно мне изменивших. Солнце достигало моей кровати, проходило через прозрачные перегородки моего похудевшего тела, нагревало меня, и я становился горячим, как стекло. Подобно выздоравливающему, но изголодавшемуся больному, мысленно питающемуся всеми блюдами, которых ему еще не дают, я задавал себе вопрос: жениться мне на Альбертине или нет, не исковеркаю ли я себе жизнь, не слишком ли тяжкое взваливаю я на себя бремя, посвящая жизнь другому человеку, заставляя себя жить в отсутствие самого себя из-за того, что все время около меня будет другой человек, и лишая себя навсегда радостей одиночества.

И не только радостей. Даже не требуя от дня ничего, кроме желаний, – разумеется, желаний, которые вызывают не предметы, а одушевленные существа с индивидуальными чертами. Если, встав с постели, я на минуту отдерну занавеску, то в этом будет мало общего с пианистом, открывающим на минутку крышку фортепьяно; мне хочется проверить, точно ли того же охвата достигает солнечный свет на балконе и на улице, как в моей памяти, а также обратить внимание на прачку, несущую белье в корзине, на булочницу в голубом фартуке, на молочницу в нагруднике, с рукавами из белого холста, несущую крючок с висящими на нем бутылками молока, белокурую девочку, с гордым видом шествующую с гувернанткой, – словом, увидеть картину, различие в линиях которой, быть может количественно ничтожное, делает ее совершенно непохожей на все прочие, как различны две ноты в одной музыкальной фразе, и без которой я обеднил бы день, лишив его целей, какие могли бы утолить мою жажду счастья. Но от преизбытка радости, доставлявшегося мне взглядом на

женщин, которых невозможно вообразить a priori[2 - Здесь: заранее (лат.).], они становились более желанными, более достойными изучения; улица, город, весь мир возбуждали во мне по той же причине жажду выздороветь, выйти из дома и, без Альбертины, быть свободным. Сколько раз, когда незнакомая женщина, о которой я мечтал, проходила мимо моего дома или проезжала на всей скорости своего автомобиля, я жалел, что мое тело не может следовать за взглядом, который ее уловил в толпе, жалел, что не могу попасть в нее, как пуля после выстрела, произведенного в нее из моего окна, жалел, что не в силах остановить бег ее лица, в котором меня ожидал призыв к счастью, меж тем как, заточенному, мне его не изведать вовек!

В Альбертине мне уже нечего было открывать. С каждым днем она, на мой взгляд, дурнела. Только когда она возбуждала желание в других и я силился понять ее, снова начинал страдать, стремился быть победителем, она возвышалась в моих глазах. Она не утратила способности причинять мне боль, она не радовала меня никогда. Только на страдании зиждилась моя докучная привязанность. Как только я переставал страдать, переставал испытывать потребность в успокоении, низводя мою сосредоточенность на степень низкого увлечения, я ощущал пропасть между мной и ею, между нею и мной. Я мучился, пока это состояние не проходило; мне иногда хотелось узнать, не выкинула ли она чего-нибудь невероятного, а она была на это способна, – тогда бы я выздоровел; хотелось поссориться, что дало бы нам возможность помириться, переменить, сделать более гибкой связывавшую нас цепь.

А пока что я придумывал множество случаев, множество развлечений, какие могли бы создать ей вокруг меня иллюзию счастья, которое я не мог ей дать. Мне хотелось, после моего выздоровления, поехать в Венецию, но, женившись на Альбертине, я, такой ревнивый даже здесь, в Париже, – как бы я на это отважился, если в Париже я решался стронуться с места, выехать только вместе с ней? Когда я сидел дома весь день, моя мысль сопровождала Альбертину во время ее прогулки, очерчивала голубоватую даль, создавала вокруг центра, которым был я, подвижную зону неуверенности и смятения. «Да разве Альбертина избавит меня от тоски расставания, – говорил я себе, – если на прогулке, заметив, что я больше не заговариваю о женитьбе, она вдруг решает не возвращаться домой и, не попрощавшись со мной, едет к тетке!» Мое сердце, после того как его рана зарубцевалась, отрывалось от сердца моей подружки: я мог силою воображения, безболезненно перемещать ее, удалять. Конечно, раз меня с ней не будет, кто-то другой мог бы стать ее мужем, и, пожалуй, она прекратит свои похождения, которые были мне отвратительны. Но на улице было так славно, я был так уверен, что она вернется вечером, что, хотя у меня

мелькала мысль о возможных проступках, мне было легче легкого заточить ее в самую неважную часть моего мозга, где в действительной жизни могли бы гнездиться пороки воображаемого лица; делая моей мысли гимнастические упражнения, ощущая энергию физическую и мозговую и как мускульное движение, и как духовное начинание, я преодолевал состояние обычной встревоженности и начинал двигаться на свободе, стремясь всем пожертвовать, чтобы помешать Альбертине выйти замуж за другого и чтобы чинить препятствия ее влечению к женщинам, хотя это было не менее безрассудно с моей точки зрения, как и с точки зрения всякого, кто не видел ее в глаза.

Ревность – болезнь перемежающаяся; источник ее прихотлив, властен, всегда один и тот же у одного больного, иногда совершенно иной у другого. Есть астматики, у которых проходит приступ, если они, распахнув окно, дышат сильным ветром или чистым воздухом в горах, другие – укрывшись в центре города, в прокуренной комнате. Нет ревности без отклонений. Один все-таки идет на то, чтобы его обманули, лишь бы об этом довели до его сведения; другой предпочитает, чтобы от него скрывали обман, причем оба одинаково нелепы, так как если второй в самом деле обманут, ибо от него скрывают правду, то первый требует для этой истины пищи, распространения, непрерывности своих страданий.

Более того: эти две противоположные мании ревности часто не соответствуют тому, о чем они просят или чего не хотят держать в секрете. Встречаются ревнивцы, чья возлюбленная находится в связи на далеком от них расстоянии; они не препятствуют ей жить с мужчиной иных влечений, чем они, но только чтобы это было с их позволения, поблизости от них, даже у них на виду, во всяком случае – под одной крышей. Это довольно частый случай у людей пожилых, влюбленных в молодую женщину. Они чувствуют, как им трудно ей понравиться, в иных случаях чувствуют невозможность удовлетворить ее и, вместо того чтобы быть обманутыми, предпочитают зазывать ее к себе, в соседнюю комнату к человеку, который, по их мнению, не способен учить ее дурному, но и не способен радовать ее. У других все по-иному; не выпуская свою возлюбленную ни на одну минуту в город, который они знают, держа ее в рабстве, они соглашаются отпустить ее на месяц в страну, которой они не знают, где они не могут представить себе, что она будет делать. По отношению к Альбертине я мог бы воспользоваться обеими болеутоляющими маниями. Я бы не ревновал, если бы она развлекалась подле меня, если бы я потворствовал этим развлечениям, если бы они всецело находились под моим надсмотром, что предохраняло бы меня от опасности лжи; вероятно, я бы еще меньше опасался, если бы Альбертина уехала в страну, более или менее для меня неизвестную и

далекую, так что я не в силах был бы воображать, у меня не было бы возможности и соблазна узнать ее образ жизни. В обоих случаях сомнение могло отпасть либо при наличии полной осведомленности, либо при наличии не менее полного незнания.

Закат вновь, благодаря памяти, погружал меня в прежний, свежий воздух, и я вдыхал его с тем же наслаждением, с каким незнакомец Орфей вдыхал легкое благоухание Елисейских полей. Но день шел на убыль, и меня охватывало вечернее уныние. Машинально поглядывая на часы, чтобы прикинуть, сколько еще осталось до возвращения Альбертины, я убеждался, что у меня есть время одеться и, спустившись к моей хозяйке, герцогине Германтской, спросить у нее совета относительно того, какие красивые вещицы подарить моей подружке. Я не раз встречал герцогиню во дворе: в любую погоду она прохаживалась в шляпе с низкой тульей и в мехах. Я отлично знал, что для многих интеллигентов она представляет собой одну даму, только и всего, титул герцогини Германтской для них ничего не значил в эпоху, когда не стало ни герцогств, ни княжеств, но я усвоил себе другой взгляд в отношениях с живыми существами и с местностями. Мне казалось, что эта дама в мехах, презиравшая нынешнее ужасное время, герцогиня, княгиня, виконтесса, носит все свои замки с собой, подобно тому как фигуры, высеченные над порталом, держат в руках выстроенные ими соборы или же города, которые они защищали. Но эти замки, леса мог видеть только мой мысленный взор в левой гантированной руке дамы в мехах, родственницы короля. Телесные мои глаза различали в ненастную погоду только зонтик, которым герцогиня не считала зазорным вооружиться. «Никогда не знаешь, так спокойней: вдруг зайду далеко, а извозчик заломит слишком дорого». Слова «слишком дорого», «это мне не по карману» – такие выражения герцогиня постоянно употребляла в разговоре, так же как: «Я очень нуждаюсь», и вам никогда не удавалось угадать: говорила ли она это потому, что находила забавным, будучи богачкой, сказать, что она нуждается, или потому, что находила изысканным, будучи аристократкой, изображать мужичку, деревенскую девушку, не придавать богатству того значения, какое придают ему люди состоятельные, но и только, и презирают бедняков. Быть может, эта черта развилась в тот период ее жизни, когда, уже разбогатевшая, но еще недостаточно, однако, соображавшая, во что обходится содержание такого количества имений, она стала слегка стесняться денег и не скрывала этого. То, над чем чаще всего подшучивают, на самом деле наводит скуку, но говорят об этом так, чтобы оно не казалось скучным, – быть может, в тайной надежде, что у нас есть дополнительное преимущество над вашим собеседником: слушая, как вы шутите, он решит, что это вы нарочно.

Я почти всегда был уверен, что в это время застану герцогиню дома, и это меня ободряло, – так мне было удобней просить у нее подробных наставлений относительно Альбертины. И я спускался, почти не думая, до чего же это необычайно – то, что я иду к таинственной герцогине Германтской моего детства, только чтобы извлечь из нее маленькую практическую пользу, как извлекают из телефона – сверхъестественного инструмента, чудесам которого дивились прежде, но которым пользуются теперь, даже и не помышляя о нем: чтобы вызвать портного или заказать зеркало.

Вещи доставляли Альбертине большое удовольствие. Я не мог не преподносить их ей ежедневно. Она с восторгом кричала мне в окно или проходя по двору о косынке, пелерине, зонтике, ибо ее глаза мгновенно различали то, что относилось к элегантности на шее, на плечах, на руке герцогини Германтской; зная, что девушки от природы разборчивы (и что разборчивость Альбертины еще облагородили беседы с Эльстиром, что ее не прельстит даже вещь красивая, при виде которой разгорелись бы глаза у девицы из простых), зная, что Альбертина сразу поняла бы, что это то, да не то, я держал в тайне от герцогини, где, как, по какой модели я достал ту вещь, что приглянулась Альбертине, как мне пришлось действовать, чтобы достать именно то, в чем состояла тайна мастера, очарование (то, что Альбертина называла «шиком», «стилем») его манеры, попросту говоря – то, в чем для нее заключались красота материи и ее качество.

Когда, по возвращении из Бальбека, я сказал Альбертине, что герцогиня Германтская живет напротив нас, в том же доме, на лице Альбертины, услышавшей почетное звание и громкое имя, появилось более чем безразличное, враждебное, пренебрежительное выражение – знак неосуществимого желания у натур гордых и страстных. Как бы ни была прекрасна по натуре Альбертина, душевные ее качества могли развиваться только среди преград, каковыми являются наши вкусы или же скорбь о наших вкусах, от которых мы вынуждены отрешиться – у Альбертины это был снобизм – и которые именуются ненавистью. У Альбертины для ненависти к светским людям оставалось слишком мало места, вот почему мне отчасти нравился ее революционный дух – то есть несчастная любовь к знати, – веявший на противоположной стороне французского характера, там, где царит аристократический свет герцогини Германтской. Об аристократическом духе из-за невозможности попасть туда Альбертина, быть может, и не вспомнила бы, но она помнила, что Эльстир говорил, что герцогиня одевается лучше всех в Париже, и республиканское презрение к герцогине сменилось у моей подружки живым интересом к элегантной женщине. Она часто расспрашивала меня о герцогине Германтской, любила, когда я ходил к герцогине за советом по поводу ее туалетов. Конечно, я мог бы спросить совета

у г-жи Сван, я даже написал ей как-то в связи с этим. Но, на мой взгляд, герцогиня Германтская достигла больших успехов в искусстве одеваться. Если, спустившись к ней на минутку, уверившись, что она дома, и попросив, чтобы мне сказали, когда Альбертина вернется, я видел, что герцогиня окутана туманом серого крепдешина, я воспринимал это как нечто сложное и не имеющее возможности измениться, я погружался в эту атмосферу, как погружаются в атмосферу некоторых дней, жемчужно-серебристых от тумана; если же, напротив, я заставал ее в китайском желто-красном халате, я смотрел на нее как на пылающий закат; эти туалеты представляли собой не декорацию, которую мы вольны изменить, но реальность, поэтическую данность, реальность времени дня, особый свет определенного часа.

Из всех платьев и халатов, которые носила герцогиня Германтская, казалось, в наибольшей степени отвечали своей задаче, заключали в себе особый смысл платья, которые Фортюни шил по древним рисункам Венеции. То ли их связь с историей, то ли, вернее, их неповторимость, их единственность придает позе женщины, ожидающей нас в таком платье, разговаривающей с вами, необыкновенную значительность, как если бы этот костюм являл собою плод долгого размышления или как если бы этот разговор выделялся из текущей жизни, как сцена из романа. В романах Бальзака, принимая посетителя, надевают туалеты с заранее обдуманным намерением. Нынешние туалеты не отличаются характерностью, за исключением платьев Фортюни. Ничего расплывчатого не должно быть в описании романиста, потому что это платье людей, существующих на самом деле, потому что малейшие подробности должны быть так же натурально изображены, как в произведении искусства. Прежде чем нарядиться, дама делает выбор между одним и другим платьем, не почти похожими, но глубоко своеобразными, которые можно было бы назвать по имени.

Но платье не мешало мне думать о самой даме. Герцогиня Германтская была мне симпатичней, чем в то время, когда я еще любил ее. Ожидая от нее меньшего, замечая, что и она не собирается идти дальше, я с почти бесцеремонным спокойствием, какое приходит, когда мужчина с женщиной остаются вдвоем, поставив ноги на каминную подставку, слушал ее так, будто читал книгу, написанную на старинном языке. Во мне было достаточно свободомыслия, чтобы ощутить в том, что она говорила, французское изящество в таком чистом виде, в каком его уже не встретишь ни в современной устной, ни в письменной речи. Я слушал ее речь, как слушают народную песню, полную чисто французской прелести; я понимал, почему она посмеивалась над Метерлинком (которого она теперь обожала по нестойкости женского ума,

чувствительного к запоздалым лучам литературной моды), как понимал, почему Мериме посмеивался над Бодлером, Стендаль над Бальзаком, Поль-Луи Курье над Виктором Гюго, Мейлак над Малларме. Я отлично понимал, что насмешник издевается над чем-то совершенно определенным и что язык у него чище. Герцогиня Германтская говорила почти таким же обворожительным языком, как мать Сен-Лу. Не у теперешних унылых эпигонов, которые говорят «фактически» (вместо «в действительности»), «незаурядный» (вместо «редкостный»), «удивленный» (вместо «оцепеневший) и т. д., и т. д., можно найти старинный язык и верное произношение, но разговаривая с герцогиней Германтской или с Франсуазой; Франсуаза, когда мне было всего пять лет, научила меня говорить не Тарн, а Тар, не Беарн, а Беар. Благодаря этому, когда мне исполнилось двадцать лет, я знал, что не надо выговаривать н, как выговаривала г-жа Бонтан: «Госпожа де Беарн».

Я бы сказал неправду, если б выразил мнение, что герцогиня не сознает в себе землевладельческого, едва ли не мужицкого начала и в известной степени не подчеркивает его. Но в этом не чувствовалось ложного простодушия знатной дамы, играющей под сельчанку, и надменности герцогини, смотрящей свысока на богачек и презирающей крестьянок, которых они не знают; у нее был почти художественный вкус женщины, которая сознает очаровательность того, чем она владеет, и не желает портить ее современной сурьмой. Именно эти свойства создали известность в Див нормандскому ресторатору, владельцу «Вильгельма Завоевателя»: он предпочитал – случай до чрезвычайности редкий! – в своем отеле не поражать роскошью и последним криком моды; будучи миллионером, он не любил об этом говорить; он вел вас на кухню, как в деревне, и там показывал, как он, в рубашке нормандского крестьянина, сам приготовляет обед, который от этого не становился гораздо лучше или дороже, чем в самых шикарных гостиницах.

Всей кряжистости старинных аристократических родов, возросших среди природы, здесь недостаточно; надо, чтобы в роду появился человек, у которого хватило бы ума не стыдиться этой кряжистости, чтобы не покрывать ее лаком современности. Герцогиня Германтская, к несчастью, умная, к несчастью, парижанка, сохранила к тому времени, когда мы с ней познакомились, от своей почвы только выговор; по крайней мере, когда она описывала свое детство, она сочетала в своем языке неумышленно деревенское и вычурно-литературное, и получалось нечто среднее, составляющее привлекательность «Маленькой Фадетты» Жорж Санд или же легенд, приведенных Шатобрианом в «Замогильных записках». Мне доставляло необыкновенное удовольствие слушать, как она рассказывает в лицах что-нибудь о крестьянах и о себе.

Старинные имена, прежние костюмы придавали в моих глазах этому сближению замка с селом какой-то особенный аромат.

Если человек ничего не подчеркивает, если он не стремится выработать свой собственный язык, его манера говорить становится настоящим историческим музеем устной французской речи. Мой двоюродный дедушка «Фитт-Жам» никого бы не удивил, если бы так назвал себя; ведь было известно, что Фитц-Джемсы всюду и везде говорили, что они французские вельможи, и возмущались, когда их имена произносили по-английски. Трогательна эта покорность людей, которые до сих пор были убеждены, что должны произносить некоторые имена грамматически правильно, и которые вдруг, услышав, что герцогиня Германтская произносит их по-иному, стараются примениться к новому для них произношению. Так, у герцогини был со стороны Шамборов прадед, и, чтобы подразнить мужа, ставшего орлеанистом, герцогиня любила вставлять в свою речь: «Мы старые Фрошдорфы». Посетитель, до сих пор уверенный, что произносит правильно: «Фродорф», становился перебежчиком и, надо не надо, говорил: «Фрошдорф».

Как-то раз я спросил герцогиню Германтскую, кто этот прелестный мальчик, которого она представила мне как своего племянника и чье имя я не расслышал; и уж совсем я ничего не понял, когда герцогиня, волнуясь, совершенно нечленораздельно произнесла горловым голосом: «Это млкий Эоп, зть Роэра. Он уверяет, что у него форма головы как у древних галлов». Тут я понял, что она хотела сказать: «Это маленький Леон, принц Леон, если угодно – зять Робера де Сен-Лу». «Не знаю, какой там у него череп, – добавила она, – но его одежда, надо сознаться, чрезвычайно изысканная, мало общего имеет с костюмами местных уроженцев. Однажды мы совершали паломничество к Роанам, и вот из Жослена туда нагрянула тьма жителей из самых глухих углов Бретани. Здоровенный леонский парень рассматривал с изумлением бежевые туфли Роберова зятя. „Что ты на меня так воззрился? Бьюсь об заклад, что ты не знаешь, кто я такой“, – сказал Леон. Крестьянин назвался. „Ну, а я твой барин“. Крестьянин снял шляпу, извинился и сказал: „А я принял вас за англичанина“. Пользуясь упоминанием Роанов (с которыми семья герцогини Германтской часто роднилась), я заговаривал о них с герцогиней, и наша беседа проникалась скорбной прелестью молитвословий или, как сказал бы истинный поэт Помпилий, «терпким запахом зерен ржи, что поджаривались на утеснике».

Рассказывая о маркизе дю Ло (его печальный конец известен: его, глухого, перенесли к слепой г-же…), герцогиня обращалась к менее трагическим его

временам: после охоты в Германте он пил чай вместе с королем английским; он нарочно надевал туфли без каблуков и был все-таки не ниже короля, но, по общему мнению, нимало этим не стеснялся. Герцогиня картинно рассказывала, что ей прикрепляли мушкетерский плюмаж, какие носили чем-либо прославившиеся дворяне из Перигора.

Кстати сказать, даже в простейшей классификации людей герцогиня Германтская, оставаясь в высшей степени помещицей – в чем была ее огромная сила, – характеризовала провинции и определяла место каждому так, как никогда это не удалось бы парижанке по происхождению; простые названия: Анжу, Пуату, Перигор – воссоздавали в ее устной речи картины природы вокруг портрета Сен-Симона.

Если уж мы заговорили о произношении и о словаре герцогини Германтской, то надо заметить, что именно эта сторона у аристократии действительно консервативна – консервативна со всем, что в этом слове содержится несколько ребяческого, слегка опасного, строптивого по отношению к эволюции, но и занятного для художника. Мне захотелось узнать, как писалось прежде имя Жан. Я это узнал, отправив письмо племянника маркизы де Вильпаризи: он подписался так, как его окрестили, как его имя значится в «Готском альманахе», – Жеан де Вильпаризи – все с той же неукоснительной красивой Н, бесполезной, геральдической, вызывающей восхищение, выкрашенной киноварью или ультрамарином, как в часослове или на витраже.

К сожалению, я не мог до бесконечности засиживаться у герцогини Германтской – мне хотелось вернуться домой по возможности раньше моей подружки. Вот почему я по чуточке добывал сведения у герцогини о туалетах, которые были мне нужны, чтобы заказывать туалеты в таком же духе, по фигуре девушки, для Альбертины.

«Положим, сударыня, в тот день, когда вы едете ужинать к маркизе де Сент-Эверт и заезжаете за принцессой Германтской, на вас красное платье, красные туфельки, вы несравненны, вы похожи на большой цветок, кроваво-красный, пылающий, словно рубин, – как это он называется? Молодая девушка может себе позволить так одеваться?»

Герцогиня придала своему усталому лицу то же сияющее выражение, какое было у принцессы де Лом, когда Сван в былые времена расточал ей комплименты; смеясь до слез, она ехидным, вопросительным и восхищенным

взором смотрела на графа де Бреоте, который в этот час всегда бывал тут и за моноклем пытался утеплить снисходительную усмешку, вызванную у него этим сумбурным интеллигентом, который, как ему казалось, пытается скрыть от него свой экстаз. У герцогини был такой вид, как будто она хотела сказать: «Что такое? Он сошел с ума!» Затем она с лукавой улыбкой обратилась ко мне: «Мне неизвестно, что я была похожа на пылающий рубин или на кроваво-красный цветок, помню, что у меня действительно было красное платье: это было красное атласное платье, какие носят теперь. Молодая девушка может ходить, в чем ей угодно, но ведь вы же мне говорили, что ваша девушка по вечерам не показывается. Это платье для званых вечеров, для простых визитов оно не подходит».

Поразительно, что от того вечера, в сущности не такого уж и давнего, в памяти у герцогини Германтской уцелело одно лишь это платье, множество других вещей она забыла, а вот их-то – это будет видно из дальнейшего – ей надо было бы бережно хранить в памяти. Думается, что у людей деятельных (у светских людей деятельность крохотна, микроскопична, и все же они люди деятельные) мысль переутомлена тем, что произойдет через час, и она поверяет памяти лишь немногое. Очень часто, например, не для того, чтобы сбить с толку маркиза де Норпуа, ему говорили, будто бы ему никого не удалось ввести в заблуждение своими предсказаниями относительно переговоров о союзе с Германией, которые тогда еще не кончились. «Вы ошибаетесь, – возражал маркиз, – я не припомню, это на меня не похоже: в разговорах на такие темы я всегда очень лаконичен и никогда не предсказываю успеха поворотам, которые часто кончаются переворотом или простой перепалкой. Не подлежит сомнению, что в ближайшем будущем франко-германское сближение может осуществиться, к немалой выгоде для обеих сторон; я полагаю, что Франция внакладе не останется, но я об этом не говорил: груши еще не поспели, но если вы хотите знать мое мнение, то, по-моему, если мы сейчас предложим нашим большим врагам вступить с нами в законный брак, мы сядем в лужу и нас отдуют». Маркиз де Норпуа не лгал – он просто-напросто забыл. Скоро забывается то, что глубоко не продумывается, то, чему вы подражаете, мелкая суета жизни. Меняется суета – и вместе с ней наша память. Дипломаты – это еще что! Главы государств не помнят, какую точку зрения они отстаивали тогда-то; некоторые из их отречений объясняются не столько заботой о своей карьере, сколько именно забывчивостью. Что касается светской толпы, то она помнит совсем мало.

Герцогиня Германтская уверяла меня, что она не помнит, чтобы на том вечере, когда она была в красном платье, присутствовала г-жа де Шоспьер, которую я

почему-то назвал. Тем не менее с тех пор Шоспьеры не выходили из головы герцога и герцогини. И вот почему. Когда президент Джокей-клоба скончался, герцог Германтский был старейшим вице-президентом. Иные члены клуба, которые ни с кем не поддерживали отношений и чье единственное удовольствие заключалось в том, чтобы накладывать черных шаров людям, которые их к себе не приглашали, повели кампанию против герцога Германтского, а тот, будучи уверен, что его изберут, и не придавая особого значения президентству – сущему пустяку в сравнении с его положением в обществе, – не ударил палец о палец. Вдруг заговорили, что герцогиня-дрейфусарка (дело Дрейфуса кончилось давно, но двадцать лет спустя его все еще обсуждали, а тут прошло всего лишь два года) принимает у себя Ротшильдов, которым с недавних пор оказывали особое покровительство влиятельные лица разных национальностей, как, например, полунемец герцог Германтский. Кампания нашла себе благодарную почву, – клубы всегда ревнуют к тем, кто на виду, и ненавидят людей с большим достатком. У Шоспьера денег куры не клевали, но его состоятельность никого не задевала: лишнего он не тратил, комнаты муж и жена занимали скромные, жена ходила в черных шерстяных платьях. Помешанная на музыке, она часто устраивала утренники, на которые приглашала гораздо больше певиц, чем Германты. Но никаких разговоров об этих утренниках на темной улице Лашез не было, вокруг них не устраивалось шума; муж и тот отсутствовал. В Опере г-жа де Шоспьер незаметно проходила на свое место, всегда с людьми, чьи имена напоминали имена самых что ни на есть «ультра» из ближайшего окружения Карла X, но с людьми, державшимися в сторонке, не светскими. В день выборов, ко всеобщему изумлению, все стало ясно: Шоспьер, второй вице-президент, был избран президентом Джокея, а герцог Германтский остался при своих, то есть – первым вице-президептом. Конечно, быть президентом Джокея не имеет большого значения для столь сильных мира сего, как Германты. Но не быть им, когда подошла ваша очередь, удостовериться, что предпочтен какой-то Шоспьер, жене которого Ориана два года назад не только не поклонилась в ответ на поклон, но сочла даже оскорбительным для себя поклон этой никому не известной летучей мыши, – это явилось жестоким ударом для герцога. Он делал вид, что стоит выше этого матча, уверял, что согласился баллотироваться по старой дружбе со Сваном. На самом деле это было ему небезразлично. Странная вещь: никто никогда не слыхал, чтобы герцог Германтский пользовался довольно банальным выражением «как бы то ни было», но после выборов в Джокей, стоило кому-нибудь заговорить о деле Дрейфуса, как у него сейчас же так и сыпалось: «Дело Дрейфуса, дело Дрейфуса, поторопились дать название, да и название-то неподходящее; это, как бы то ни было, не религиозный вопрос, это вопрос политический». В течение пяти лет не слыхать было «как бы то ни было», если в это время не говорили о деле Дрейфуса, пять лет спустя вновь

всплывало имя Дрейфуса – автоматически выскакивало «как бы то ни было». Кстати сказать, герцог не выносил, когда при нём говорили об этом деле, которое, по его выражению, «наделало столько бед», хотя, по правде говоря, оно было неприятно только ему одному, из-за неудачи на выборах в президенты Джокей-клоба.

Так вот, в тот день, после того как я напомнил герцогине Германтской, что на вечере у своей родственницы она была в красном платье, с графом де Бреоте обошлись довольно неучтиво, когда, решив, что надо что-то сказать, хотя бы по неясной ассоциации идей, которую он так и не прояснил, он начал водить языком по своему рту, похожему на куриную ж…ку: «Что касается дела Дрейфуса…» (При чем тут дело Дрейфуса? Речь шла только о красном платье; бедняга Бреоте, думавший о том, кому бы доставить удовольствие, был далек от того, чтобы на что-то намекать, но при одном имени Дрейфуса герцог Германтский сдвинул свои юпитерские брови.) «…мне передавали, – начал Бреоте, – довольно изящное словцо – нет, правда, очень остроумное – нашего друга Картье (предупредим читателя, что Картье, брат г-жи де Вильфранш, не имел никакого отношения к своему однофамильцу-ювелиру), что меня, впрочем, не удивляет: он умеет ими торговать». – «Ну уж только не я буду в числе покупательниц, – перебила Ориана. – Не могу вам передать, как ваш Картье мне надоедает. Не понимаю, какую такую необыкновенную прелесть находят Шарль де Ла Тремуй и его жена в этом парикмахере, которого я встречаю у них постоянно». – «Милая герцогиня! – возразил Бреоте; ему не давались свистящие звуки, – вы слишком строги к Картье. Правда, он, может быть, слегка занесся у Ла Тремуй, но для Шарля он – как бы сказать? – верный Ахат, а в наше время это редкость. Ну так вот что мне передавали. Картье будто бы сказал, что Золя добивался процесса и приговора, чтобы испытать неведомое ему ощущение – ощущение заключенного». – «Потому-то он и бежал до ареста, – подхватила Ориана. – Это не вяжется. Но даже если это правда, я нахожу, что заявление дурацкое. Что тут остроумного?» – «Боже мой, прелестная Ориана! – снова заговорил Бреоте; видя, что не встречает поддержки, он начал выворачиваться. – Слова не мои, я просто их повторил, относитесь к ним как хотите. Дело в том, что Картье сострил в силу необходимости, так как очаровательный Ла Тремуй по праву требует, чтобы в его салоне не говорили о том, что я называю – как бы сказать? – о текущих делах, и ему было особенно досадно, что у него в этот вечер была госпожа Альфонс Ротшильд. Картье получил от Тремуя изрядный нагоняй». – «Вне всякого сомнения, – в сердцах заговорил герцог, – у Альфонсов Ротшильдов хватает такта не заговаривать об этом гнусном деле, но в душе они дрейфусары, как и все евреи. Вот вам аргумент ad hominem[3 - Применительно к человеку (лат.).] (герцог кстати и некстати употреблял выражение „ad

hominem“), который ясно показывает недобросовестность евреев. Если француз крадет, убивает, я не стану доказывать, что он невиновен, только потому, что он француз, как и я, но еврей ни за что не согласится, что один из их единоплеменников – изменник, хотя они великолепно это знают, и не задумываются об ужасных последствиях (герцог, разумеется, имел в виду треклятые выборы Шоспьера), о том, что преступление одного из их соплеменников может привести к… Послушайте, Ориана, вы же не станете уверять меня, что евреев не тяготит то, что они все, как один, поддерживают изменника. Вы же не станете говорить, что это из-за того, что они евреи». – «А, представьте, стану, – возразила Ориана (она была раздражена, ей хотелось позлить Юпитера-Громовержца, а кроме того, хотелось повесить над делом Дрейфуса объявление „Интеллигентность“). – Может быть, они действуют так именно потому, что они евреи, что они хорошо себя знают, знают, что можно быть евреем и не быть непременно изменником и антифранцузом, как это утверждает, если не ошибаюсь, Дрюмон. Конечно, если б это был христианин, евреи не приняли бы участия в его судьбе, но они знают по собственному опыту, что если он не еврей, то нельзя так легко бросить ему обвинение в измене a priori, как сказал бы мой племянник Робер». – «Женщины ничего не смыслят в политике! – глядя в упор на герцогиню, воскликнул герцог. – Это страшное преступление – не просто еврейский вопрос, – это, как бы то ни было, государственное дело, дело огромной важности, которое может иметь для Франции гибельные последствия; всех евреев надо выслать из Франции, в то время как, надо сознаться, меры были до сих пор приняты (самым возмутительным образом, требующим пересмотра) не против них, а против их наиболее видных врагов, против людей высшего круга, к несчастью для нашего злополучного государства отодвинутых на задний план».

Я чувствовал, что страсти разгораются, и поспешил заговорить о платьях.

«Вы помните, сударыня, – спросил я, – когда вы первый раз были любезны со мной?» – «Первый раз любезна с ним!» – повторила герцогиня, глядя со смехом на графа де Бреоте; кончик носа у него стал пуговкой, улыбка сладенькой из уважения к герцогине Германтской, а его скрипучий голос издал несколько нечленораздельных, режущих слух звуков. «…На вас было желтое платье с большими черными цветами». – «Ах, малыш, не все ли равно: это вечерние платья». – «А ваша шляпка с васильками, – как я ее любил! Но все это – далекое прошлое. Я хочу купить девушке, о которой мы говорили, меховое пальто, вроде того, которое было на вас вчера утром. Нельзя ли на него посмотреть?» – «Нет, Аннибал должен сейчас же ехать. Вы придете ко мне, и моя горничная вам все покажет. Только, малыш, я вам с удовольствием дам на время все, что угодно, но

если вы закажете вещи Кало, Дусе, Пакена дешевым портнихам, то у вас выйдет не так». – «Да я же не собираюсь идти к дешевой портнихе, я отлично знаю, что это будет совсем не то, но мне хочется понять, почему у них выйдет не то». – «Вы же знаете, что объяснять я не умею, я дурочка, изъясняюсь, как мужичка. Тут все дело в уменье, в сноровке; что касается мехов, то я могу замолвить за вас словечко моему меховщику, – по крайней мере, он вас не обдерет. Но это вам будет стоить еще восемь-девять тысяч франков». – «А халат, от которого плохо пахнет? Вы в нем были прошлым вечером. Такой мрачный, пушистый, с крапинками, расшитый золотом, как крыло бабочки?» – «А, это платье Фортюни! Ваша девушка вполне может надеть его у себя. У меня их много, я вам покажу, могу даже дать вам одно, если это доставит вам удовольствие. Но мне больше хочется, чтобы вы посмотрели халат моей родственницы Талейран. Я напишу ей, чтобы она прислала мне его на время». – «А еще у вас такие хорошенькие туфельки – это тоже Фортюни?» – «Нет, я знаю, о чем вы говорите, это золоченое шевро мы нашли в Лондоне, когда нас возила Консуэло из Манчестера. Это что-то необыкновенное. Я так и не смогла разгадать секрет позолоты – у вас создается полное впечатление золотой кожи, посередине – маленький бриллиантик и больше ничего. Бедная герцогиня Манчестерская скончалась, но если вам это доставит удовольствие, я напишу миссис Варвик или миссис Мальборо с просьбой попытаться достать похожее. Нет ли и у меня такой кожи? А вдруг это можно сделать здесь? Я посмотрю вечером и пришлю вам сказать».

Так как я всеми силами всегда старался уйти от герцогини до того, как вернется Альбертина, я часто встречал во дворе де Шарлю и Мореля. Они выходили от герцогини Германтской и шли пить чаи к… Жюпьену, самому большому фавориту барона. Наши пути пересекались не каждый день, но ходили они по двору ежедневно. Надо заметить, что устойчивость привычки обычно соответствует ее ничтожности. Блестящие поступки обычно совершаются в порыве чего-либо. Но жизнь бессмысленная, жизнь, когда маньяк добровольно отказывается от всяких удовольствий и подвергает себя самым тяжким испытаниям, – такая жизнь меняется редко. Если вам любопытно, то вы можете наблюдать, что один несчастный десять лет подряд спит в часы, когда он может жить, а выходит из дому, когда его могут пристукнуть на улице, когда он пьет ледяное, хотя на улице тепло, и каждую секунду рискует простудиться. Требуется маленькое усилие, один-единственный вечер, чтобы все это изменилось раз навсегда. Но именно такой образ жизни обычно удел людей неэнергичных. Пороки – это особый вид такой однообразной жизни, которую воле угодно было немного скрасить. На оба эти вида можно было посмотреть с одной и той же точки зрения, когда де Шарлю ежедневно шел с Морелем пить чай к Жюпьену. Одна лишь гроза пронеслась над этой ежедневной привычкой.

Племянница жилетника как-то сказала Морелю: «Вот что: приходите завтра, мы с вами чайком побалуемся». Барон имел полное право считать это выражение крайне вульгарным в устах особы, которую он намеревался сделать почти что своей невесткой, а так как он любил оскорблять и упиваться своим гневом, то вместо того, чтобы просто-напросто велеть Морелю дать девушке урок вежливости, он на возвратном пути только и делал, что выходил из себя. «Я вижу, занятия музыкой даром вам не прошли: они отбили нормальное обоняние, раз вы терпите, что запах кала, исходящий от грубого выражения „побаловаться чайком“, – за пятнадцать сантимов, я полагаю, – достиг моих королевских ноздрей? Когда вы заканчиваете соло на скрипке, был ли такой случай, чтобы я, вместо грома рукоплесканий или еще более красноречивого молчания, – молчание объясняется невозможностью удержать не то, на что так щедра ваша невеста, а рыдание, рвущееся из горла, – наградил бы вас тем, что издал неприличный звук?»

Когда подчиненного так распекает начальник, его непременно увольняют. Но уволить Мореля было бы для Шарлю верхом жестокости; видя, что он далеко зашел, он принялся подробно, со вкусом разбирать игру девушки, рассыпать ей похвалы, неумышленно перемежая их грубостями. «Она очаровательна. Так как вы музыкант, наверное, она прельстила вас своим чудесным голосом, голос у нее особенно хорош, когда она берет верхние ноты – тогда кажется, что она аккомпанирует вашему си-диез. Ее нижний регистр мне нравится меньше: по-видимому, это зависит от троекратного покачивания ее странно устроенной тонкой шеи – кажется, уже конец, а шея все еще раскачивается; помимо частностей, мне нравится ее силуэт. Она портниха, умеет обращаться с ножницами, так вот, пусть-ка она как можно лучше вырежет себя из бумаги».

Чарли не слушал эти восхваления; он вообще пропускал мимо ушей восторженные отзывы об его невесте, тем более что украшения, которыми ее одаривали, неизменно исчезали. Де Шарлю он ответил: «Можешь быть спокоен, малыш, я ей намылю шею, больше она так не скажет». Когда прекрасный скрипач называл де Шарлю «малыш», он не забывал, что он ему в сыновья годится. Он не называл де Шарлю, как Жюпьен, – в отношениях между некоторыми людьми устанавливается безмолвное соглашение, что на первом месте у них простота вне зависимости от разницы в возрасте, а потом уже – влечение (влечение фальшивое у Мореля, у других – искреннее). В этот период времени де Шарлю получил письмо: «Дорогой Паламед! Когда же мы с тобой увидимся? Я очень скучаю без тебя и часто о тебе думаю. Весь твой Пьер». Де Шарлю долго ломал себе голову, чтобы догадаться, кто это из его родственников позволяет себе ему писать с такой фамильярностью. По всей

вероятности, он прекрасно его знает, однако почерк ему не знаком. Все принцы, которым «Готский альманах» отводит несколько строк, прошли в течение нескольких дней перед глазами де Шарлю. Наконец адрес на конверте все объяснил: автор письма был членом клуба охотников, куда иной раз захаживал де Шарлю. Этот охотник не считал невежливым писать в таком тоне де Шарлю, хотя и относился к нему с большим уважением. Ему казалось, что было бы сухо не обратиться на «ты» к человеку, который несколько раз тебя целовал и тем самым – думал он в своей наивности – показал, что он тебе симпатизирует. В глубине души де Шарлю был в восторге от такой фамильярности. Он даже проводил с утренника маркиза де Вогубера только для того, чтобы показать ему письмо. А ведь одному богу известно, до чего де Шарлю не любил ходить по улицам с маркизом де Вогубером! Дело в том, что маркиз то и дело рассматривал в монокль молодых людей. Этого мало: чувствуя себя привольно вдвоем с де Шарлю, он говорил на языке, который ненавидел барон. Он все мужские имена переделывал на женский лад, а так как он был очень глуп, то эта шутка казалась ему необычайно остроумной, и он все время покатывался со смеху. Так как он вместе с тем страшно дорожил своим дипломатическим постом, то унылые и смешные рожи, которые он строил на улице, он беспрестанно убирал с лица: на него наводили страх шедшие ему навстречу светские люди, но особенно – чиновники. «Вот славненькая телеграфисточка, – пояснял он, дотрагиваясь локтем до хмурого барона, – я был с ней знаком, да остепенилась, мерзавка! О, посыльный из „Галерок Лафаиста“, какая прелесть! Господи, директор из министерства торговли! Лишь бы он не заметил моего жеста! Он способен наговорить министру, а тот меня – за штат, тем более что, кажется, быть за штатом и быть пассивным – это одно и то же». Де Шарлю был вне себя от бешенства. Наконец, чтобы прекратить опостылевшую ему прогулку, он решил достать письмо и дать прочесть послу, но только попросил посла никому ничего не говорить, так как старался внушить себе, что Чарли не чужды ни ревность, ни любовь. «Итак, – заключил он, уморительно изображая добряка, – надо всегда стараться делать как можно меньше зла».

Прежде чем дойти до Жюпьена, автор считает нужным признаться, как ему неприятно, что читателя шокируют такие необычные картины. С одной стороны (наименее важной), находят, что в этой книге аристократия представлена однобоко, более затронутой вырождением, чем другие классы. Возможно, но только тут нечему удивляться. Наиболее старинные семейства в конце концов признают, что красный крючковатый нос, выдвинувшийся вперед подбородок – это отличительные знаки их «рода», которыми они любуются. Но среди этих устойчивых и беспрестанно обостряющихся черт есть и черты невидимые: тенденции и вкусы. Сказать, что все это нам чуждо и что поэзию следует

исключить из текущей жизни, – это было бы более серьезным взглядом на вещи, если только его обосновать. Искусство, отчужденное от самой простой действительности, на самом деле существует, его область, быть может, самая обширная. Но в то же время большой интерес, иногда – чисто эстетический, могут привлечь действия, вытекающие из форм сознания таких далеких от всего, что мы чувствуем, от всего, во что мы верим, что они так и остаются для нас непонятными, они открываются нам как бессмысленное зрелище. Что может быть поэтичнее, чем Ксеркс, сын Дария, приказавший высечь море за то, что оно поглотило его корабли?

Не подлежит сомнению, что Морель, пользуясь властью, которую его чары имели на девушку, передал ей, выдав за свое, замечание барона, ибо выражение «побаловаться чайком» совершенно исчезло из жилетной, – так навсегда исчезает из салона ближайшая приятельница, которая бывала здесь ежедневно и с которой по той или иной причине рассорились или отношения с которой хранятся в тайне и с которой видятся где-нибудь еще. Де Шарлю был доволен исчезновением «побаловаться чайком»: он усматривал в этом доказательство своего влияния на Мореля и исчезновение хотя бы одного-единственного пятнышка на совершенствовании девушки. Наконец, как все люди его круга, де Шарлю, будучи верным другом Мореля и его почти невесты, горячим сторонником их брачного союза, не прочь был учинять между ними более или менее безобидные ссоры, за пределами которых и над которыми он чувствовал себя таким же олимпийцем, как если б речь шла о его родном брате. Морель объявил де Шарлю, что любит племянницу Жюпьена, собирается на ней жениться и что ему льстило бы, если б барон присутствовал при визитах своего юного друга, играя роль будущего посаженого отца, снисходительного и скромного. Это был предел его мечтаний.

Я лично думаю, что «побаловаться чайком» – выражение самого Мореля и что, ослепленная любовью, молодая портниха взяла его у своего любимого человека, хотя оно и резало слух на фоне красивых выражений, употреблявшихся девушкой. Хороший язык, прелестные манеры, покровительство де Шарлю – все это привело к тому, что многие клиентки, на которых она работала, обращались с ней теперь как с подругой, приглашали ужинать, знакомили со своими друзьями, а девица на все испрашивала соизволения барона де Шарлю. «Молодая портниха в обществе? – воскликнут иные. – Что тут правдоподобного?» Если вдуматься, еще менее правдоподобно то, что когда-то Альбертина приезжала ко мне в полночь, а теперь живет у меня. Быть может, неправдоподобно было бы с другой, но только не с Альбертиной, круглой сиротой, ведшей такой свободный образ жизни, что вначале я принял ее в

Бальбеке за любовницу посыльного, – это ее-то, девушку, чьей самой близкой родственницей была г-жа Бонтан, которая еще у г-жи Сван дивилась дурным манерам племянницы, а теперь закрывала на них глаза, особенно если это могло избавить ее от племянницы и устроить ей богатый брак, по каковому случаю небольшая сумма перепала бы тетке (в самом высшем обществе весьма знатные и впавшие в крайнюю бедность матери, подыскав сыну богатую невесту, не отказываются от помощи молодых супругов, получают в подарок меха, автомобиль, деньги невестки, которую они не любят и которую они все-таки вынуждены принимать у себя).

Быть может, настанет такой день, когда портнихи – что меня лично ничуть не шокирует – выйдут в свет. Племянница Жюпьена – исключение, по нему еще трудно что-нибудь предугадать, одна ласточка не делает весны. Во всяком случае, если даже ничтожное положение в обществе, какое занимала племянница Жюпьена, кое-кого и возмущало, то уж не Мореля, ибо в некоторых отношениях он был так непроходимо глуп, что не только считал «глупенькой» девушку, которая была в тысячу раз умнее его, – может быть, считал только потому, что она его любила, – но еще предполагал, что существуют искательницы приключений, переодетые мастерицы, играющие в дам, занимающие очень высокое положение и принимающие ее у себя, чем она и не думала хвастаться. Конечно, это были не Германты, даже не их знакомые, но богатые, элегантные буржуазки, свободомыслящие настолько, что не считали позором принимать у себя портниху, достаточно, однако, раболепные, чтобы получать своеобразное удовольствие оттого, что протежируют девушке, к которой сам его светлость барон де Шарлю ходит каждый день без всяких грязных намерений.

Никому так не пришлась по душе идея этого брака, как барону, – он полагал, что теперь Морель от него не упорхнет. Барон подозревал, что племянница Жюпьена, почти девочкой, «согрешила». И, хваля Мореля, он не раздражал разговорами об этом своего друга, у которого был бешеный нрав, и, таким образом, не мутил воду. Дело в том, что де Шарлю, хотя дико злой от природы, был из числа благожелательных людей, которые хвалят того-то или ту-то, чтобы показать, какие они сами добрые, но боятся как огня употреблять слова успокоительные, столь редко произносимые, которые были бы способны установить мир. Барон не позволял себе никаких инсинуаций по двум причинам. «Если я ему скажу, – говорил он себе, – что его девушка с грешком, его самолюбие будет задето, он на меня рассердится. И потом, кто мне поручится, что он не влюблен в нее? Если же я промолчу, солома быстро погаснет, я буду руководить их отношениями по своему усмотрению, он будет любить ее не

больше, чем я этого захочу. Если же я расскажу о неосторожности его нареченной, кто мне поручится, что мой Чарли недостаточно влюблен, чтобы быть ревнивым? В таком случае, я по своей вине превращу флирт без последствий, которым можно заниматься как угодно, в большую любовь, а большой любовью управлять трудно». По этим двум причинам де Шарлю хранил молчание, которое есть не что иное, как только видимость скромности, а с другой стороны, похвально, так как людям его сорта молчать о чем-либо – почти выше их сил.

Помимо всего прочего, девушка была восхитительна, и де Шарлю, чей вкус к женщинам она удовлетворяла вполне, изъявил желание получить сотни ее фотографических карточек. Не такой глупый, как Морель, он с удовольствием узнавал светских дам, в домах у которых она была принята и которым его социальное чутье отводило соответствующие места. Но он воздерживался (желая сохранить власть самодержца) говорить об этом с Чарли, с настоящим мужланом в этом отношении, продолжавшим верить, что вне «класса скрипки» и Вердюренов существуют только Германты, несколько почти королевского рода семейств, которые барон мог пересчитать по пальцам, все же остальное было для него – «сволочь», «сброд». Чарли понимал эти выражения де Шарлю буквально.

Почему де Шарлю, которого в течение всего года тщетно ждали к себе столько послов и герцогинь, де Шарлю, не ужинавший вместе с принцем де Крой только потому, что принц был на первом месте, почему де Шарлю проводил свободное время не со знатными дамами, не с вельможами, а с племянницей жилетника? Главным образом потому, что там был Морель. Но если бы его там и не было, я бы не усмотрел в этом ничего неправдоподобного, или я должен был бы стать на точку зрения одного из посыльных Эме. Это лакеи из ресторана думают, что вот у того-то огромное состояние, раз он всегда в новом блестящем костюме, что самый шикарный господин дает ужины на шестьдесят персон и ездит только в авто. Они ошибаются. Очень часто человек безумно богатый ходит все в одном и том же поношенном костюме; самый шикарный господин на дружеской ноге в ресторане только со служащими, и если вы к нему зайдете, то увидите, что он играет в карты со своими лакеями. Это не мешает ему отказаться пройти после принца Мюрата.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Перевод стихов в «Пленнице» принадлежит В. Стефанову.

2

Здесь: заранее (лат.).

3

Применительно к человеку (лат.).

Купить: https://tellnovel.com/ru/marsel-prust/plennica

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить